

ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ ТЬМА



ДОКТОР ПЁТР СОЙФЕР

Петр Сойфер

Ослепительная тьма

«Автор»

2026

Сойфер П.

Ослепительная тьма / П. Сойфер — «Автор», 2026

Зачем писать натюрморт два месяца, если камера сделает то же самое за сотую долю секунды? Этот вопрос слышит от жюри престижной премии Лукас Валлин, виртуоз академической техники. Его безупречный графин называют «цветным сканом», рецензия выходит в сеть через час, а победу отдают концептуальной инсталляции. В ту же ночь Лукас слепнет. Глаза здоровы, мозг здоров, но мир, который он так точно копировал, выключился. Год во тьме, старая собака-поводырь, Стокгольм запахов и звуков — и стена мастерской, которую он покрывает углём и краской на ощупь. Её невозможно сфотографировать: на снимке это просто грязная стена. Её нельзя переслать, скачать, пролистать. На неё надо смотреть весь день, пока по ней идёт свет. Новелла о месте художника в мире, где любое изображение копируется за секунду, и о том, что остаётся человеку, когда точность больше ничего не стоит.

© Сойфер П., 2026

© Автор, 2026

Петр Сойфер

Ослепительная тьма

Доктор Пётр Сойфер
ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ ТЬМА
Новелла

Глава 1. Идеальный графин

Первый снег над Сёдермальмом пошёл в начале девятого, когда до рассвета оставалось ещё полчаса. Ветер тянул с Сальтшён, и снег летел наискось, мелкий и сухой. В свете фонаря он напоминал известковую пыль.

Лукас Валлин стоял у окна мастерской с остывшей чашкой кофе и смотрел. Снег падал под углом градусов в шестьдесят к карнизу дома напротив. В конусе фонаря снежинки вспыхивали тёплой охрой, а за его краем сразу синели, словно пересекали невидимый шов. Первый тонкий слой лёг на черепицу, и там, где крыша загибалась к водостоку, белизна уходила в сизую, почти фиолетовую тень. Неаполитанская жёлтая с каплей белил. Ультрамарин, приглушённый жжёной умброй. Цвет приходил к нему раньше слова и сразу распадался на пигменты, будто глаз сам выдавливал краску на палитру.

Окно смотрело на север. Ровный рассеянный свет без прямого солнца художники выбирают уже лет четыреста, и ради этого окна Лукас отдавал за мансарду больше половины студенческого займа. Над крышами темнел купол Катарины. По Гётгатан прошёл первый автобус, и стекло в раме тонко звякнуло. Внизу открылась пекарня, по лестнице потянуло кардамоном и горячим маслом. Лукас не заметил ни того ни другого. Звуки и запахи давно жили для него на краю, как шум прибоя для человека, выросшего у моря. Скипидар он перестал различать ещё на втором курсе.

В мастерской стояли два холста, каждый метр на полтора. Диптих для Nordic Art Prize. Через два дня его увезут в галерею на Катаринавеген, а пока оставался последний мазок.

На левом холсте была аудитория Академии на Шеппсхольмене в восемь утра. Высокое окно, косой луч, в луче пыль, выписанная частица за частицей: казалось, она медленно оседает, стоит только отвернуться. Дубовый паркет с тёмными щелями между планками, вытертый до светлого дерева у мольбертов. Пустой стул натурщика. Лукас писал аудиторию по памяти и по сорока фотографиям, но фотографии лгали в тених, и три недели подряд он приходил туда к восьми утра, чтобы проверить каждую.

На правом холсте был графин.

Настоящий графин стоял тут же, на дубовом столе у окна, на том самом месте, где Лукас поставил его девять недель назад. Простое стекло, круглое тело, узкое горло. Вода до середины. На донышке, у самого края, остался отпечаток большого пальца, его собственный, с первого дня, когда он наливал воду. Лукас заметил отпечаток только вечером и не стал стирать. С тех пор графина никто не касался. Вода испарялась, и каждые два дня Лукас доливал её пипеткой до карандашной риски, сверяясь с уровнем на холсте. На поверхности воды лежала тонкая пыль, и он написал её тоже.

В круглом теле графина стояло окно, маленькое и перевёрнутое. Вода работала как линза: крыши свисали черепицей вниз, небо лежало на дне. Сегодня в этом перевёрнутом окне снег падал снизу вверх.

Лукас поставил чашку на подоконник и подошёл к холсту.

Тринадцать слоёв лессировки, и каждый — прозрачная плёнка пигмента на масляном связующем, тоньше папиросной бумаги, сохнувшая по три дня. Два месяца ушли на прелом-

ление: на то, как край стола, видимый сквозь воду, ломается и сдвигается влево на ширину пальца. На пузырьки у внутренней стенки, крошечные, каждый со своим бликом и своей тенью. И на отпечаток: дуги папиллярных линий Лукас прописывал под лупой кистью в один волос. На всём холсте не было ни одного видимого мазка, и поверхность оставалась гладкой, как отполированная кость.

Оставался блик на кромке горлышка. Одна точка свинцовых белил, колонковая кисть номер ноль. Лукас откладывал её неделю, как откладывают последнюю ступень.

Он поднял кисть и опустил.

Свет был не тот.

Девять недель он писал графин в сером ноябрьском свете, и холст помнил именно этот свет. Теперь крыши напротив побелели, и снег отбрасывал небо обратно в комнату. Свет стал ярче и холоднее, тени на столе посветлели и ушли в голубизну. Блики на горлышке, вчера тёплый, жемчужный, сегодня горел почти синим. Положи он его сейчас, и через неделю в галерее, под светодиодами, эта точка будет лгать.

Лукас сунул левую руку в карман и стал считать суставы. Большой палец — два, указательный — три, средний, безымянный и мизинец — по три. Четырнадцать. Он пересчитал правую, не выпуская кисти, и снова вышло четырнадцать. Пальцы были влажными, кисть скользила, и он вытер ладонь о штанину.

Берг обещал прийти в двенадцать. Последний взгляд перед вернисажем: так он поступал с каждым своим студентом, хотя своими называл немногих.

Профессор Берг говорил о свете медленно, по слову, с паузами, будто диктовал кому-то, кто записывает. «Свет входит слева. Тёплый. На скуле лимонный, на крыле носа холоднее. Тень под нижней губой лиловая. Не коричневая — лиловая». Студенты передразнивали его в курилке за Академией, растягивая слова и закрывая глаза. Лукас не передразнивал ни разу. Он записывал. На первом занятии первого курса Берг поставил на подиум стакан с водой, долго молчал, а потом сказал: «Живопись — это математика света. Всё остальное — дилетантство». Лукас запомнил эту фразу так, как запоминают молитву.

Последние две недели Берг почти не появлялся в Академии. Занятия вёл ассистент. Говорили разное, но Лукас не прислушивался.

В десять зазвонил телефон. На экране светилось: «Мама». Лукас посмотрел на экран, на блик от окна, лёгший поперёк букв, и перевернул телефон лицом вниз. Через минуту пришло голосовое сообщение. Содержание он знал заранее: польские слова, ласковые и тревожные, вопрос, ест ли он, просьба приехать в воскресенье к мессе. Слушать не стал.

Около одиннадцати телефон дрогнул снова. Фрейя выложила фотографию: мешок для мусора, из горловины свисают серые медицинские бинты. Подпись: «почти». Под снимком набралось уже сорок сердечек. Лукас пролистал дальше.

В двенадцать Берг не пришёл. Не пришёл и в половине первого.

В час Лукас надел пальто. У Берга было правило: каждые два часа отрываться от холста и смотреть вдаль. Глаз, прикованный к близкому, устаёт и начинает врать в тоне. Пять лет Лукас выполнял это правило, как выполнял все правила Берга.

Он поднялся к Фьелльгатан и вышел к ограде над обрывом. Отсюда открывался весь залив. Вода Сальтшён ещё не замёрзла и лежала тёмная, тяжёлая, с белыми парами у причалов. Над Гамла Стан стояли шпиль, позеленевшие до цвета ярь-медянки. Напротив, за водой, лежал Шеппсхольмен, и окна Академии Лукас нашёл глазами раньше, чем успел о них подумать. Снег почти перестал. Свет над заливом был плоский, без теней: пейнова серая в воде, белила с охрой у горизонта. Лукас простоял у ограды положенные десять минут и пошёл обратно.

У светофора на Гётгатан он остановился рядом с пожилым мужчиной и собакой. Чёрный лабрадор сидел у самой кромки тротуара, в жёсткой белой шлейке с дугой. Мужчина держал дугу левой рукой. Лицо его было поднято к небу, глаза закрыты, на ресницах таяли снежинки.

Лукас смотрел на собаку. Чёрное — самый трудный цвет, и Берг запрещал брать чёрную краску из тюбика: в природе чёрное не бывает чёрным. Шерсть лабрадора смешивалась из ультрамарина и жжёной умбры, а на спине, куда падал свет неба, лежал холодный голубой рефлекс, почти серебро. Под ремнями шлейки шерсть примялась и блестела тусклее. Лицо мужчины следовало бы писать холоднее рук: руки грелись о шерсть, а лицо было отдано снегу.

Светофор щёлкнул и мерно застучал. Собака встала, и мужчина двинулся в то же мгновение, не раньше и не позже. Ни рывка, ни команды, ни задержки. Они сошли с бордюра одним движением, будто шаг у них был один на двоих: собака чуть впереди и слева, рука на дуге, плечо над её спиной. На середине перехода собака замедлилась перед выбоиной в асфальте, и мужчина замедлился вместе с ней и обошёл выбоину, которой не видел.

Лукас не сошёл с места.

Он попытался разложить их, как раскладывал всё: чёрная шерсть, глотающая свет, белая шлейка, бледное лицо, поднятое к небу, которого оно не видело. Глухая тень и чистый свет, сцепленные дугой из кожи и металла. По отдельности каждый был просто пятном, задачей на тон. Вместе они двигались как одно тело с двумя сердцами. Берг говорил на первом курсе: светотень — это не свет и не тень, а граница между ними; убери одно, и другое станет плоским. Тогда Лукас записал это как правило композиции.

То, что его остановило, не помещалось ни в один пигмент. Оно было в движении, а движение он писать не умел.

Светофор замолчал, загорелся красный. Лукас понял, что пропустил зелёный. На другой стороне улицы чёрное пятно и светлое уже сворачивали за угол.

Он перешёл на следующий зелёный и до самой мастерской не мог отделаться от странной тесноты в горле, будто ему что-то показали не целиком.

К двум часам свет начал уходить. В конце ноября солнце в Стокгольме садится до трёх, и день, не успев разгореться, уже клонился. Крыши напротив оставались белыми, и от них в комнату по-прежнему шёл холодный отражённый свет.

Лукас опустил штору до середины рамы. Нижняя половина окна погасла, отражение крыш исчезло, и тени на столе сразу потеплели, вернулись к сизому. В перевёрнутом окне графина снова висело одно небо, серое и ровное. Таким оно было все девять недель.

Он выдавил на край палитры горошину свинцовых белил и размял её мастихином с капель масла. Взял кисть и задержал дыхание, как задерживал его над каждым бликом все пять лет. Блик лёг с первого касания: точка, чуть вытянутая вдоль кромки, тёплая с одного края и холодная с другого. Сорок секунд работы после девяти недель ожидания.

Лукас отступил на три шага, потом на шесть. Отсюда холст и стол совпадали. Два графина стояли рядом, написанный и настоящий, и при этом свете он не взялся бы сказать, какой из них ближе.

Стоял он долго, пока не затекли ноги. В груди было сухо и горячо, как перед экзаменом, когда знаешь ответ на любой вопрос.

Без четверти три телефон завибрировал на подоконнике. Сообщение от Берга, первое за две недели.

«Не смогу прийти. Простите. Б.»

Лукас прочёл его трижды. Ни слова о вернисаже, ни слова о диптихе. Пять лет Берг правил его рисунки, его тени, его лиловое под нижней губой, а теперь, когда всё было закончено, у него нашлось три слова и точка.

Лукас набрал: «Блик готов». Стёр. Набрал: «Вы обещали». Стёр и это. Положил телефон экраном вниз рядом с остывшей чашкой.

Потом подошёл к правому холсту и повернул мольберт на несколько градусов к окну, словно показывал работу кому-то, стоящему там.

Вечером он не ел. Отмыл кисти в скипидаре, потом в мыле, разложил на газете ворсом за край стола, как учили. Записал в тетрадь пигменты последнего слоя и время: четырнадцать пятьдесят две. Таких тетрадей за пять лет набралось одиннадцать.

Лёг он здесь же, на матрасе у дальней стены, не раздеваясь.

Проснулся среди ночи, не понимая отчего. В мастерской было темно. Фонарь светил в верхнюю половину окна, над шторой, и под потолком лежала бледная трапеция. Холсты стояли чёрными прямоугольниками. Ни аудитории, ни пыли в луче, ни графина. Два месяца работы, тринадцать слоёв лессировки обратились в два тёмных пятна, неотличимых от стены.

Только на столе у окна горела одна точка. Свет фонаря лёг на горлышко настоящего графина, туда, где днём Лукас положил свой блик. Точка была крошечная и белая, без всякой температуры, ни тёплая, ни холодная. Больше он не видел ничего.

Он смотрел на неё не моргая, пока не заслезилась глаза.

Потом встал, нащарил выключатель настольной лампы и зажёл свет. Диптих был на месте: аудитория, пыль, паркет, графин с перевёрнутым окном и отпечатком пальца, блик на кромке, ещё влажный, чуть выпуклый.

Лукас выключил лампу.

Глаза привыкали к темноте долго, дольше обычного. Он лежал на спине и ждал, когда точка вернётся.

Глава 2. Вернисаж на Сёдермальме

Галерея на Катаринавеген открывалась в шесть. Лукас пришёл в половине пятого, когда монтажники ещё сматывали удлинители, и встал у колонны напротив своей стены.

Диптих повесили на главной стене, по центру, на стандартной высоте: середина холста в полутора метрах от пола. Над ним горели два спота. Лукас подошёл ближе и почувствовал, как стягивается кожа на затылке.

Блик был не тот.

Светодиоды давали ровный белый свет, без северной голубизны и без ноябрьской серости. В этом свете точка на горлышке графина потеряла тёплый край и стала просто белой. Тени на столе пожелтели там, где должны были оставаться сизыми. Девять недель он подбирал свет, и его отменили одним щелчком выключателя.

Лукас попросил техника повернуть спот. Тот повернул на несколько градусов, посмотрел на холст, потом на Лукаса.

— У всех так висит, — сказал он и ушёл за стремянкой.

К шести зал наполнился. Пахло духами, мокрой шерстью пальто, шампанским и нагретой пылью от тепловентиляторов у входа. Голоса сливались в ровный гул, над ним звенело стекло. Лукас различал лица: женщина в зелёном, на щеке рефлекс от её же платья; мужчина с бокалом, свет пробивает шампанское и ложится на пальцы медовым пятном. Каждый раз, когда открывалась дверь, он смотрел на вход. Берга не было.

Жюри пришло в половине седьмого. Трое мужчин в чёрном и женщина с короткими седыми волосами, в асимметричных очках с толстой оправой. Они двигались вдоль стен, как врачи на обходе, и перед диптихом остановились.

Лукас считал. Раз. Два. Три.

Женщина наклонилась к графину, поправила дужку очков и что-то отметила в планшете. Взгляд её прошёл по стеклу и не задержался на отпечатке пальца.

— Очень аккуратно, — сказал мужчина с ухоженной бородкой. — Но зачем?

— Ремесло хорошее, — отозвалась женщина, уже поворачиваясь. — Только это цветной скан. Hasselblad сделает то же самое за сотую долю секунды. Автора здесь нет.

Семь секунд. Лукас досчитал до семи, и они пошли дальше.

Он остался у колонны. Лицо горело, ладони стали мокрыми. Хотелось догнать её, взять за рукав и подвести обратно: вот пузырьёк у стенки, вот край стола, сдвинутый водой на ширину пальца, вот тринадцать слоёв, два месяца на одно преломление. Но с места не сдвинулся. Левая рука в кармане считала суставы, сбивалась и начинала снова.

Публика обтекала диптих, как вода обтекает гладкий валун. Пара остановилась на секунду.

— Как фотография, — сказала девушка.

— Ага. Пошли, там Фрейя.

Звук из дальнего конца зала Лукас слышал раньше, чем увидел толпу. Гул, нарастающий и опадающий, скрежет тормозов, шипение дверей. Женский голос объявил: «Nästa: Medborgarplatsen». Метро.

На белом подиуме лежала грудa медицинских бинтов, серых, пожелтевших по краям. На некоторых проступали ржаво-бурые пятна. Сквозь бинты были продёрнуты ленты из разбитых аудиокассет, и магнитная плёнка блестела в свете спотов, как мокрые водоросли. Внутри груды прятался динамик. На стене над подиумом висел криво натянутый холст, залитый чёрной строительной мастикой, с отпечатками подошв.

Лукас разложил это машинально: пейнова серая с умброй для бинтов, ржавчина — жжёная сиена, мастика — чистая жжёная кость, единственное настоящее чёрное в зале. Под шумом метро, если прислушаться, шло ещё что-то: ровное шипение со щелчком, каждые четыре секунды, будто дышала машина. Лукас не прислушивался.

— Деконструкция телесности, — говорила женщина в асимметричных очках, обращаясь сразу ко всем. — Город как больничная палата. Это манифест.

Фрейя стояла у подиума в растянутом свитере, с волосами, собранными кое-как карандашом, и пахла табаком. Она увидела Лукаса через головы и махнула ему.

— Лукас! Ну как тебе?

Он протиснулся ближе.

— Сколько ты это делала?

— Собрала за два часа до открытия, — сказала Фрейя. — А до этого...

Кто-то тронул её за плечо, она обернулась, засмеялась чему-то, и конец фразы утонул в гуле. Лукас стоял и держал в голове два часа.

Победителя объявили в восемь. Председатель жюри, тот самый мужчина с бородкой, говорил по-шведски и по-английски, о смелости, о времени, о том, что искусство больше не обязано быть красивым. Nordic Art Prize и грант в пятьсот тысяч крон получила Фрейя. Потом назвали два поощрительных упоминания. Имени Лукаса среди них не было.

Фрейя поднялась на маленький помост, сказала одну фразу и сошла. Лукас стоял слишком далеко и разобрал только последнее слово: «маме». Зал захлопал. Он хлопал вместе со всеми и смотрел, как свет спотов дрожит на её ладонях.

В очереди в гардероб он открыл телефон. Рецензия вышла через сорок минут после объявления. О нём там была одна строка: «Лукас Валлин продемонстрировал впечатляющую, но совершенно бессмысленную академическую дрессировку». Он прочёл её, закрыл, открыл снова. Слово не изменилось.

Дрессировка.

Пять лет, одиннадцать тетрадей, сорок фотографий аудитории и три недели к восьми утра, пипетка, карандашная риска, пыль на поверхности воды — всё это уместилось в одно слово, каким говорят о собаках в цирке.

Фрейя нашла его у выхода. Она была без пальто, с бокалом в одной руке и незажжённой сигаретой в другой.

— Ты злишься, — сказала она.

— Нет.

— Злишься. — Она помолчала. — Я смотрела на твой графин. Правда смотрела, минуту, наверное. Красиво. А потом поняла, что не знаю, зачем ты его писал.

— Чтобы он был.

— Он и так был, Лукас. Стоял у тебя на столе.

Он хотел ответить, что графин на столе и графин на холсте — разные вещи, что второй он сделал сам, слой за слоем, а первый просто купил в «Икее» за сорок девять крон. Но фраза рассыпалась, не дойдя до губ, и вместо неё он сказал:

— Поздравляю.

Фрейя посмотрела на него внимательно, будто хотела что-то добавить. Её позвали из зала, и она ушла, коротко сжав ему запястье холодными пальцами.

На улице был мороз. Снег перестал ещё днём, небо очистилось, и в нём стояли редкие звёзды, бледные над городской засветкой. Внизу, под обрывом Катаринавеген, лежали чёрная вода и огни паромов у Стадсгордена. Лукас пошёл к Слюссену. Развязка который год стояла в строительных заборах, краны висели над водой неподвижными стрелами, на сетках ограждений налипла изморозь.

У спуска к метро он остановился над решёткой вентиляции. Снизу поднимался тёплый воздух, пахнувший железом и сухой пылью. Под ногами нарастал гул, потом скрежет, потом шипение дверей. Поезд пришёл на станцию и ушёл.

Звук был тот же. Лукас узнал его раньше, чем понял откуда.

Он постоял ещё немного, пока тёплый воздух не перестал подниматься, и пошёл через мост на север, туда, где горели вывески.

Глава 3. Выключение

Бар на Свеавеген был полуподвальный, с низким потолком и красными лампами над стойкой. Красный свет съедал все цвета, кроме себя самого, и лица посетителей становились одинаковыми, как на снимках, проявленных при лабораторном фонаре. Лукас сел в угол, спиной к стене, и заказал виски. Потом ещё.

Пил он редко и не умел. После второго стакана свет перестал раскладываться на пигменты и стал просто красным. После третьего это показалось облегчением.

За соседним столом сидели студенты Академии, человек шесть, третий курс. Его они не заметили.

— ...а Валлин, — сказал кто-то, и Лукас поднял голову. — Видели его графин?

— Красиво же.

— Красиво. — Голос был развязный, с растяжкой. — Только кому сегодня нужен парень, который девять недель вылизывает один графин? Мы живём в эпоху идей. Можешь вообще не уметь держать кисть, но если идея сносит крышу, ты художник. А Валлин... ну, ремесленник. Мастер по вызову. Позвонишь, и он нарисует тебе твою кухню.

Засмеялись. Кто-то сказал «ну хватит», смех стих, но не кончился.

Лукас встал. Стул за ним опрокинулся и ударился спинкой о плитку. За соседним столом обернулись, и стало тихо. В красном свете он видел лицо говорившего во всех подробностях: прыщ у крыла носа, крошку чипсов в бороде, зрачки, расширенные от полумрака.

— Лукас, ты чего... — начал кто-то.

Он вышел, не застегнув пальто.

Дальше ночь шла кусками. Мост, под ним чёрная вода с плавучими льдинками. Снова Сёдермальм, снова Гётгатан, но уже с другой стороны, с запахом жареного лука из киосков. Очередь у двери клуба, басы, отдававшиеся в груди раньше, чем он их слышал. Внутри было темно и жарко, свет бил стробоскопом, и в его вспышках люди застывали в нелепых позах, словно модели, которым не дали досидеть сеанс.

В туалете у раковины стоял парень в куртке с капюшоном. Они разговорились, и Лукас потом не мог вспомнить, о чём. Помнил только, что сказал «художник», а парень кивнул так, будто это всё объясняло, и вытряхнул ему на ладонь маленькую прозрачную капсулу с белым порошком.

— Держи. Глаза откроет.

Лукас проглотил её, запив тёплой водой из-под крана, и не спросил, что это.

Минут через сорок, уже на улице, мир начал проступать.

Сначала изморозь на крыше припаркованной машины. Каждый кристалл отдельно, с собственной гранью, с собственной искрой. Потом шарф на прохожем: каждый узел вязки, каждая петля, ворсинка, приставшая нитка другого цвета. Трещины в асфальте разветвлялись, как русла рек на аэрофотосъёмке, и в каждой лежала своя тень. Витрина. Кирпичи. Шов между кирпичами. Песчинка в шве.

Светодиодная вывеска мигала. Раньше он этого не видел: свет дрожал с частотой сети, и дрожь резала глаз.

Всё требовало, чтобы его написали. Каждая вещь. Сразу. Глаз хватал, раскладывал, считал углы и пигменты, а вещей не убывало, они лезли со всех сторон, и каждую надо было взять, рассмотреть, запомнить. Лица. Пory на лицах. Пар изо рта, распадающийся на капли.

Лукас побежал.

Бег не помогал. Улица неслась навстречу, и вместе с ней несло всё: фонари, пороги, ручки дверей, окурки, следы подошв в снегу, рисунок протектора в каждом следе. Он закрыл глаза на бегу, споткнулся, открыл снова. Сердце билось в горле. Во рту пересохло, челюсть сводило.

Зачем. Зачем это всё. Каждая пылинка, каждый блик. Мёртвые вещи. Декорация, которую никто не просил писать.

«Я не хочу это видеть, — стучало в висках в такт сердцу. — Я больше не хочу это видеть».

До мастерской он добрался, когда небо на востоке над Сальтшён посерело и тронулось грязно-розовым. Ключ попал в замок с третьего раза.

В мастерской пахло льняным маслом и скипидаром. Сегодня он почувствовал этот запах впервые за три года, и запах ударил в горло, как нашатырь.

На стене, над столом, висел этюд графина, первый, сентябрьский, маслом по картону. Под ним стоял сам графин. В его круглом теле окно уже светлело, и перевёрнутое небо на дне было розовым.

Лукас взял со стола мастихин. Тяжёлый, стальной, с ромбовидной лопаткой. Подошёл к этюду и одним движением провёл лезвием наискось, от угла до угла. Картон подался с сухим треском. Краска на краях разреза отслоилась чешуйками.

Мало.

Он бросил мастихин на пол и обеими руками поднял графин. Вода качнулась, плеснула через горло ему на запястья. Холодная. Девять недель. Отпечаток пальца на доньшке был прямо перед глазами, и Лукас видел каждую дугу, каждую развилку папиллярных линий, все до одной.

Он занёс графин над головой.

Свет за окном изменился.

Розовая полоса над крышами побледнела. Не погасла, а именно побледнела, будто из неё вымыли краситель. Тень от мольберта на полу потеряла край. Лукас моргнул. Под веками появился лёгкий зуд, как от мелкой пыли.

Цвет уходил. Охра на корешках книг стала серой глиной. Синий шарф на гвозде у двери стал серым. Розовое небо в окне стало белым, потом серым. Всё оставалось на местах, все контуры, все предметы, но из них по капле вытекал цвет, и они становились похожи на старый снимок, забытый на солнце.

Потом поплыли контуры. Край стола растёкся. Окно размылось в светлое пятно.

Свет убывал ровно, без рывков, будто кто-то медленно поворачивал реостат.

— Нет, — сказал Лукас. — Нет.

Светлое пятно окна сжалось и посерело. Серое загустело, как молоко. Потом молоко потемнело.

Потом не стало ничего.

Он стоял посреди мастерской с поднятым графином в руках. Чувствовал холодное стекло. Чувствовал воду на запястьях, тяжесть в плечах, сквозняк от окна на шее. Видел темноту. Не черноту ночи, в которой глаз всё равно ловит хоть что-нибудь: щель под дверью, отблеск, серое на сером. Ничего.

Лукас медленно опустил руки. Графин был тяжёлым и скользким. Он присел на корточки, нащупал пол и поставил графин на паркет, осторожно, доньшком вниз, проверив пальцами, что тот стоит ровно. Потом убрал руки.

И закричал.

Крик получился сильным, сорванным, чужим. Лукас поднёс ладони к самому лицу, так близко, что чувствовал на них своё дыхание. Ладоней не было.

В дверь постучали минут через десять. Соседка снизу, пожилая женщина по имени Агнета, услышала крик и грохот упавшего мольберта. Лукас открыл ей, держась за косяк, и сказал в темноту, туда, где был её голос:

— Я не вижу.

Дальше были чужие руки, чужие голоса и запахи, теперь различимые все до одного.

Скорая пахла резиной и антисептиком. Глазная больница Святого Эрика, новый корпус у Каролинской, пахла кофе из автомата и мокрым полом. Врач светила ему фонариком в глаза, и он ничего не видел, но слышал, как она говорит медсестре: «Зрачки реагируют, оба, живо». Ему закапывали в глаза что-то щиплющее, просили смотреть вверх, вниз, налево. Он смотрел туда, куда просили, в темноту.

Потом была неврология, магнитный резонанс, грохочущая труба, в которой он лежал сорок минут и считал суставы на пальцах. Электроды на затылке. Анализ мочи. Синтетический стимулятор, сказали ему, следы.

На третий день к нему пришла невролог, женщина с тихим голосом и холодными руками. Села рядом. Попросила смотреть прямо перед собой. Что-то зашуршало у его лица, потом мерно застрекотало, будто рядом раскручивали маленький барабан.

— Что вы видите?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.